

Николай Полевой

# Дурочка



# Николай Алексеевич Полевой

## Дурочка

*Текст предоставлен правообладателем*

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=663655](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=663655)*

*Избранные произведения и письма: Художественная литература; Л.;*

*1986*

### Аннотация

«Москва, Москва! Она близко – только одна станция отделяет меня от Москвы, милой, прекрасной, родной Москвы – да что мне до тебя, милая, старинная Москва! В Москве *она*, моя Паулина, и с таким же нетерпением скакал и мчался бы я в Колу, в Нерчинск, в Олонец, с каким скачу, спешу теперь в Москву – *там* – нет! теперь уже почти *здесь* – моя Паулина! – Здесь!.. О боже!...»

# Содержание

I	4
II	17
III	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

# Николай Алексеевич Полевой Дурочка<sup>1</sup>

## I

Москва, Москва! Она близко – только одна станция отделяет меня от Москвы, милой, прекрасной, родной Москвы – да что мне до тебя, милая, старинная Москва! В Москве *она*, моя Паулина, и с таким же нетерпением скакал и мчался бы я в Колу<sup>2</sup>, в Нерчинск<sup>3</sup>, в Олонец<sup>4</sup>, с каким скачу, спешу теперь в Москву – *там* – нет! теперь уже почти *здесь* – моя Паулина! – Здесь!.. О боже! Голова моя кружится; сердце мое бьется так сильно, как будто ему тесно стало тут, в груди моей...

Я не мог ехать далее – остановился на Черной Грязи<sup>5</sup>, велел отвести себе комнату и вот уже целый час хожу, сижу, ничего не делаю, ничего не думаю. О чем мне думать? Одна мысль моя: *Паулина*. И на одну такую мысль не достанет мне

---

<sup>2</sup> *Кола* – городок на Кольском полуострове.

<sup>3</sup> *Нерчинск* – город в Забайкалье.

<sup>4</sup> *Олонец* – город в Карелии.

<sup>5</sup> *Черная Грязь* – последняя станция перед Москвой.

вечности...

Какая-то глупая рожа приходила и спрашивала меня, не хочу ли я есть либо пить?

– Разве у вас останавливаются только для еды и питья? Нет ли у вас уголка, где живут только счастьем, только мечтою о счастье?

Мечтой! Что за вздор! Еще недавно оно было для меня мечтой, а теперь перешло в чудную существенность... О, Паулина! ты – *моя*...

С каким безумным нетерпением поскакал я из Петербурга и мчался опрометью всю дорогу, как бесился я на людей, задерживавших меня там, в их великолепном леднике, – они хотели, чтобы я замерз, как они... Бог с вами! Если за свободу мне можно откупиться золотом – возьмите его и дайте мне поскорее отогреться подле моей Паулины. Расчет верен, кажется: вам золото, мне – воля и Паулина!..

И как переменились все мои отношения, и отчего? От мешка империялов. – За месяц, я погибал. Безднадежность счастья губила меня. Как тяжело было мне смотреть на мир божий, на людей, на радость! То не зависть была: такое отвратительное чувство для меня непонятно! Но тяжело мне было смотреть и видеть все таким счастливым, видеть неисчерпаемые источники блаженства в мире божьем, в жизни, в сердце моем и гореть адским огнем бесприветного горя. Медленной мукой томительной жизни видел я себя осужденным страдать, томиться до одинокой могилы или... не смею

сказать!

И все изменила горсть золота!

Мне иногда приходило в мысль стать на колени перед людьми и благоговейно преклониться перед высоким доказательством небесного их происхождения.

Если оценить страшное увлечение очаровательного, звенящего демона, если оценить, что за него все покупают люди, что перед ним склоняются все страсти их, все приличия, отношения их, разрушаются все связи сердца, души, родства, дружбы, – как не трепетать: чего не сделают люди для золота? Как не благоговеть перед ними после того, что они так мало делают для золота? Что удерживает, что спасает их? Стало быть, есть в душе их что-то выше, то, что удерживает руку убийцы, терзает потом преступника более всякой казни? Есть оно и неистребимо в душе человека – его не отгонит оттуда звон золота, его не заслепит блеск роскоши, его не заглушит клик самых бешеных страстей! Иначе каждый червонец, блеснувший перед глазами нищего, был бы смертным приговором тому, у кого в руках этот червонец...

Я помирился теперь с людьми. Как легко мириться счастливому!

Зачем я остановился здесь? Неужели разрешать нравственные задачи жизни человеческой?

Нет! мое сердце было так полно чувствами, что я не мог ехать далее – мне надобно было передохнуть здесь – мир счастья душил меня! Мне надобно было облегчить душу мою

думой, и я приехал бы притом в Москву ночью, и целую вечную ночь мне надобно было провести в одном с нею городе и не видеть ее – нет! невыносимо! Тут еще двадцать верст разделяют нас – в один час перелечу я их, и первый шаг мой в Москве будет к ее жилищу, первая встреча моя будет с нею... Святотатство любви было бы встретить кого-нибудь другого, кроме нее, идти не к ней первой...

Томительные часы охромели, не бегут, а кое-как ковыляют, кажется... Ночь длиннее лапландской<sup>6</sup> зимней ночи... Неужели в Москве изменился до того климат, что заря загорается здесь в девять часов утра... но она *последняя* ночь разлуки! Завтра я засну с радостною мыслью, что с каждым днем могу я видеть мою Паулину... Пусть же она тянется медленно, последняя ночь скорби... Она усладительна для меня, как последняя капля горечи из сосуда прошедшего бытия...

Я растворил окно. Какое чудное время, какая теплота в воздухе! Милая ночь! Кажется, она ласкает меня, лелеет меня... И вот говорят, что только в Италии знают прелесть летних ночей... Я не знаю вашей «итальянской» ночи, но там не может быть ночей лучше... И как кстати теперь мрачное, грустное положение гостиницы, как будто для того, чтобы прелесть земли не увлекала взоров моих от неба, чтобы в небо только улетал мой взор с усладительною думою души...

---

<sup>6</sup> Лапландия – природная область на севере Скандинавии и Кольского полуострова.

Странное дело! но мне хотелось бы теперь даже немного какого-нибудь горя – я встретил бы его с улыбкой...

Дитя! Ты спасен из реки и опять не боишься играть на берегу ее, кидать камешки по грозному пространству вод, которое чуть было не поглотило тебя... Ты уже забыл те страшные бессонные ночи, в которые ты даже плакать не мог...

Припомни их... их *много* было! Ты терял в них счет... Да, я содрогаюсь теперь при мысли, как близок я бывал к отчаянию, и – сколько раз?

Нет! Теперь я остановлю брата моего, когда... когда коснется душе его страшная мысль самоубийства! Я скажу ему: «Остановись – не отчаивайся! Мир надежды бесконечен, как мир любви!»

Но была ли мне надежда? Никакой! Пропать делила меня и Паулину...

Не знаю... Мне пересказать почти нечего, если бы кто-нибудь спросил меня о прошедшем: я любил, я был любим, и у меня не было даже и надежды назвать *моею* ту, которую любил я. Что ж тут необыкновенного?

Да что такое называете вы необыкновенным? Какая ваша трагедия сравнится с зрелищем отца, в глазах которого умирает милый сын, матери, у которой голодные дети просят куска хлеба, а у нее между тем нет куска хлеба... И все повторяется каждый день в великолепном городе вашем, да вы не видите, вы не знаете тех мест, где теснится горе, где живут безотрадные матери с голодными детьми... Сколько раз, по-



гибая сам безотрадною тоскою, я бегал с Невского проспекта, далеко, туда, где скорбь и нищета гнездятся в глуши, далеко от глаз шумного света... Я был там среди братьи моей, среди таких же, как я, нищих... И как часто, идя по какому-нибудь грязному переулку на Петербургской стороне, думал я: «Друзья мои! я беднее вас! Не смотрите, что на мне не лохмотья надеты; зато вы не знаете, каким счастливец мог бы я быть, если бы судьба уделила мне хоть немного так щедро разбросанного ею столь многим – вы *не знаете*, и – вы богаче меня...»

Если бы каждый, многие по крайней мере могли передать нам историю их душевной грусти – какой роман, какое произведение поэзии могли бы с нею сравниться? А между тем на гробе иного человека нечего написать, кроме слов: «родился... умер...» – год, месяц и число.

Легким облаком пролетает теперь у меня по ясному, светлому настоящему память о прошедшем... Но слава богу, что оно *прошло*...

Я помню, как умирал мой отец – я был тогда дитя, но я помню последние слова его, помню, как он говорил моей плачущей матери: «Неужели они не простят тебе и малютке нашему, когда уже меня не будет? Неужели они не дадут вам куска хлеба за то, что ты отдала руку свою бедняку и тем оскорбила горделивое, знатное родство? Дядя твой человек добрый...»

Но *добрый* дядя не явился к матери моей, когда умер отец

мой. Честолюбие было непримиримо. Помню, как шел я за гробом отца, как мне жаль стало, когда в гроб его застучала земля; я не знал, что на земле бывает иногда тяжелее, нежели под землею. Праведному там легко. Страдальцу там отраднее...

И она умерла, и я остался бесприютен...

Зачем такие мрачные воспоминания пробудились в душе моей теперь? Мне было так сладостно и весело... но они — последняя память былому, грустному и тяжкому...

Если бы не такова была моя судьба, я не узнал бы тебя, Паулина... Пути провидения неисповедимы...

Только зачем так страдали и так безотрадно умерли отец мой и мать моя?.. Неужели за то, что он, благородный бедняк, осмелился любить дочь знатного и богача, и она отдала ему руку свою, спрашиваясь только у своего сердца, а не у богатых дядей и теток?.. Если бы он и она были теперь живы... моя жизнь и любовь моя и любовь Паулины вознаградили бы их за страдания...

Помню, как дядя мой не хотел видеть меня, но сделался каким-то незримым провидением моей жизни, милующим и карающим по его желанию. Меня взял к себе отец Паулины; я рос и учился с детьми его. Там я увидел, узнал тебя, Паулина...

Как мне не любить тебя, Паулина, когда, узнавши тебя, я сведал первые радости жизни! С воспоминанием первых впечатлений юности моей, твой образ везде со мною, подле

меня...

А когда в первый раз сказалось душе моей, что непостижимое чувство, сливавшее нас в радости и горе, заставлявшее нас делиться жизнью, — была любовь...

— Антонин! — говорил мне отец Паулины, когда однажды пришли мы к нему утром по обыкновению, — ты завтра поедешь в Петербург. Ты хорошо учился. Дядя твой доволен тобою. Но он хочет, чтобы ты был человеком деловым, порядочным, и если ты приобретешь себе место в свете, будущая судьба твоя будет обеспечена моим добрым другом.

— Неужели он не позволит мне теперь увидеть его? — Он не хочет. «Тогда только, когда Антонин будет достоин любви моей, оправдает себя поведением, — я прощу ему и его матери — он будет мой наследник». Теперь ты будешь получать достаточное содержание. Вот тебе несколько писем в Петербург, по которым встретят тебя ласково и откроют тебе дорогу к будущему... Помни, что во мне всегда найдешь ты отца и друга. Он заплакал, и мы все заплакали...

Этот день свят в моей памяти: Паулина и я поклялись друг другу вечно любить друг друга...

И, как орел в небо, полетел я в Петербург — *служить*. Голова моя горела мечтами славы и любви...

Через три года мне уже надобно было *отдохнуть*. *Достаточного содержания* едва доставало мне на вицмундир и на то, чтобы не замерзнуть зимою и не сидеть впотьмах.

Письма, которые должны были *открыть мне дорогу к бу-*

*дуцему*, открыли мне только двери в департамент.

Работа моя была тяжкая; отрады сердцу моему не было. Мечты мои опустили крылья. Я дичал и жил одиноким.

Я вырвался наконец в Москву и увидел ее. – Как переменилась она в три года! Вместо красивой девочки, веселой, резвой шалуни, она была девушка чудная – украшение лучших обществ. Я не смел сказать ей «ты», я увидел всю свою неловкость – был глуп, неуклюж перед нею. Я увидел в Паулине дочь богатого человека, блестящую, прелестную, очаровательную, а в себе – бедного чиновника департаментского. Меня по-прежнему ласкали – как доброго сироту, как знакомого семьянина; говорили мне, что я должен стараться быть честным, хорошим человеком, что мной довольны начальники... Растерзанный убежал я из Москвы...

Но я унес с собой сладостное убеждение, что она любит меня, любит... Мы не говорили ничего друг другу – я не смел говорить, – но я видел, что она меня любит...

С той поры прошло три года. Они были мучительны. Не знаю, какая безумная мысль – уравнивать свое образование с светским образованием Паулины – увлекла меня в большой свет... Нелюдимый с товарищами до тех пор, я завел знакомство, дружбу с ними. Между нами были светские шалуны – я подал им руку, и они увлекли меня за собою. Как не найти чего ищешь, и я сделался всегдашним гостем на раутах, вечерах и балах...

Но дорога была расплата! Как часто совестился я, видя

себя в толпе бездушных щеголей, ужасался пустоты в великолепных, набитых народом залах и гостиных, пугался блестящих, светских женщин, которые издали, с высоты своей, казались так обольстительны... Ссора за *визави* в кадрили была лучшею моею рекомендациею у многих...

Но кровожадного червя, который глодал меня, грыз мне сердце и обливал его палящею кровью, никто не знал, кроме меня самого! Страшное чувство мое поймет только тот, кто бросился в свет, не имея на то ни прав рождения, ни прав богатства – других прав в свете не знают, и всякий, кто явится без них в свет, будет рабом его, рабом самым жалким, ничтожным, таким, что, как блага, будет он просить, как милости, умолять забвения, что у него есть душа, есть сердце, есть ум – просить, чтобы душа его заменилась эгоизмом, сердце бесчувственностью, ум приличиями... В большом свете, где все кажутся так равны, так равно веселы, так равно богаты, тма степеней разделяет людей, и нигде нет так низко и так высоко расставленных в глазах своих товарищей... Вы не знаете, что за иную из великолепных карет, которые подъезжают к подъезду бальной залы, заплачено так дорого, как не платят люди за высшее блаженство в мире; вы не знаете, что иного человека, так щегольски одетого, по приезде с вечера дома ждет бессонная подушка должника, что с бала могут отвориться для него двери в тюрьму, что после великолепного ужина грозит ему голодное завтра... Ужасна бедность, ужасно унижение, везде ужасны они, но нигде они так

не ужасны, как в большом свете. Не думайте, чтобы свет указывал на них – нет! – но если он не говорит, не думайте, чтобы он и не понимал, не знал их и, молча, неподвижный, бесстрастный, не давал чувствовать каждому своему страдальцу, что он все видит и знает... Боже! Когда все так равно, так весело становятся в кадрили, – бездна разделяет двух рядом стоящих партнеров одной кадрили и отчаяние сердца, позор бедности прикрыты у одного из них только модным фракком...

Но я был увлечен, я не мог возвратиться и все приносил в жертву кумиру светской жизни – страдал, терпел, забывал свои обязанности, вошел в неоплатные долги... Грозное письмо дяди напомнило мне, что скоро лишен я буду, может быть, насущного хлеба, – он сведал о моей рассеянной жизни... А куда мне было после того броситься!.. В Неву?..

Только немногими днями подарило меня providение, немного дало мне дней радостных в ужасные три года: отец Паулины был проездом в Петербурге; он ехал с семьею за границу, и я увидел ее, и она изумилась, увидя меня. Мой внешний вид, мои приемы, мое обхождение показали ей во мне не прежнего неловкого чиновника департаментского... Она не стыдилась теперь любви моей – не стыдилась, видя меня подле себя... Три дня – и, к счастью, мы провели их не на балах, не в собраниях, – три дня мы были вместе, были счастливы...

Но взгляд Паулины снова раскрыл мне гибель сердца мо-

его и страшное расстояние, разделяющее меня, бедняка, от нее – богатой, светской девушки. Неужели мне повторить историю отца моего?.. Никогда!

Окаменяющий взор отчаяния, когда я расстался опять с Паулиною, мог я отогнать только безумным рассеянием...

На другой день после того, когда тюрьма угрожала мне за долги, когда мне велено уже было подать в отставку, когда отвратительный эгоизм раскрылся мне во всех меня окружавших, – я сделался наследником всех богатств моего дяди... Меня уведомили о внезапной смерти его. Я даже не обрадовался тому сначала. Быстрый переход из отчаяния ко всему возможному на земле блаженству оглушил меня... Старик, старик! ты, томивший меня столько лет, – если бы еще несколько дней... кто знает? На все дары счастья, которые бросил ты мне из могилы, служил бы ответом полицейский рапорт: «Реченный Антонин N. N. прекратил жизнь свою самопроизвольно»... А какой рапорт подали бы мы с тобою там – в вечности?..

Слава богу! это *прошедшее*.

Но у меня волосы становятся дыбом при одной мысли... Спрашиваю сам себя: точно ли все прошло? Точно ли я близ Москвы? Точно ли я близко к Паулине?

Заря загорается на небе... Прочь все, что миновалось, – настоящее мое! Лошадей, скорее лошадей! В Москву, в Москву!

Как они изумятся, как *она* изумится! Она ничего не зна-

ет – на что мне было писать? На что было медлить лишним часом пребывания в Петербурге? Они подумают, что к ним явился прежний, бедный Антонин, а я – я вдруг предложу ей богатства мои – сердце ее принадлежит мне давно – тому шесть лет, как она сказала мне о том. После того ни однажды не смел я говорить ей, напомнить ей, но она меня понимала; ее взор сказывал мне все, чего не хотели мы говорить.

Колокольчик звенит! Какой виртуоз играл для меня когда-нибудь усладительнее этого колокольчика... Бегу, бегу!.. Мчись скорее, Антонин...



## II

Вот чего я не ожидал – такой *веселой* встречи с Паулиной!.. Однако ж – мне досадно.

Чуть не загнал я чудную тройку моего ямщика на двадцати верстах; едва успел я кое-как одеться и чрезвычайно изумился, когда, подъехавши к дому отца Паулины, увидел ворота и окна запертыми – так еще было рано, что все спали в доме! Только старый дворник мел улицу. Он узнал меня и обрадовался мне.

– В Москве ли барин? – был первый мой вопрос.

Не нелепость ли: до тех пор не подумал я, что они могли уехать в деревню; но, слава богу, они в Москве.

– Неужели у вас еще спят? Барин всегда прежде вставал так рано.

– Со времени последней болезни он очень ослабел, – говорил мне старый Михайло, и подробно начал он рассказывать о болезни старика барина и о том, что он встает ныне очень поздно. Я готов бы был проговорить с Михаилом, пока все встанут в доме, если бы не спросил: «Здорова ли барышня?» – «Здорова, слава богу, но ее нет теперь дома – она гостит, – я побледнел, – у тетушки своей Прасковьи Ивановны, которая теперь живет на даче, в Останькове». Чуть не закричал я от досады. Прасковьи Ивановны Свистуновой я никогда терпеть не мог...

Что мне было теперь делать? Я пошел поспешно, без плана, без цели и сам не помню, как дошел до Кремля. Здесь я опомнился.

Странное дело. Теперь, когда оборвалась так неожиданно надежда, которою жил и дышал я в последнее время, мне было теперь все равно, раньше ли, позднее ли увидиться с семьею Паулины. И я принялся осматривать Кремль, как добрый провинциал, приехавший в первый раз в Москву, глядел на царь-пушку, на царь-колокол, полез на Ивана Великого... И когда я без всякого чувства смотрел на чудную панораму Москвы с башни Годуновской, внезапная мысль: «А может быть, она приедет сегодня утром в Москву, и теперь она уже дома?» — так поразила меня, что я опрометью бросился с колокольни, чуть не свалился с лестницы и через полчаса был уже в доме отца Паулины.

Я нашел большие перемены в его столь знакомом мне доме: старая мебель была заменена наполовину новою, готическою; комнаты отделаны на новый лад; я не узнавал ни комнат, ни мебели. Старик также совсем переменялся. Полуразбитый параличом, он неподвижно сидел в своих креслах. Но он встретил меня по-прежнему.

— Верно, по командировке? — сказал он. — Надеюсь, что ты не тратишь времени по-пустому и не поневоле оставил Петербург? — Голос его выражал полуупрек.

Я понял, улыбнулся, засмеялся, уверил, что послан по делам в...скую губернию. Совесть старика успокоилась. Он об-

нял меня.

– Что дядя?

– Вы знаете, что я получаю от него одно письмо в год.

– А я и того не получаю.

Начались разговоры о Петербурге, и скоро узнал я, что Паулина приедет сегодня вечером к балу, который дают в Дворянском собрании. Скоро простился я, отказался от обеда и вечером явился на бал. Кадрили уже начались. Тотчас отыскал я Паулину, и как не отыскать Паулины – спросите, посмотрите сами, кто первая в собрании? Это, верно, будет она.

Паулина танцевала с каким-то гусаром и так весело, так мило разговаривала.

Кадриль кончилась. Я бросился к ней.

– Боже мой! я вас не узнала бы, Антонин! Радуюсь, что вы здоровы и, кажется, веселы?

Я не смел отвечать. Новая кадриль. Опять гусар и опять разговоры с ним.

Бедная девушка! Как ее мучили приличия! Скрывая чувства, она почти не замечала меня. Гусар, казалось, увлекал все ее внимание. Что это за гусар? Он молод, хорош, богат, знатен – бальный человек.

Паулина вздумала рекомендовать нас друг другу, как будто ей хотелось оправдаться в глазах гусара, сказать, что я за человек и почему так просто мы разговариваем с нею; ей как будто хотелось сказать ему... Бог знает, что хотелось ей ска-

зять...

Мы весело смеялись, но мне было досадно. Боже мой! так ли думал я встретиться?

\* \* \*

И опять гусар и уже не на бале, а в доме, и как добрый, любезный гость, и я ни слова не мог сказать ей! Он в самом деле такой милый, такой ловкий... Да зачем он здесь?

Опять бал где-то завтра, и она осталась для того дома. А зачем же не осталась она вчера с полубольным отцом?.. Паулина! это мне не нравится...

\* \* \*

С балу она уехала прямо в Останьково к тетке.

— Поедем туда; подышим свежим воздухом тамошних болот.

Прасковья Ивановна облапила меня, как добрый коршун, вопросами о Петербурге, о делах, о своем деле, о моей службе, и мне забавно было, что она говорит со мной, как с бедным сиротой Антонином, бедным чиновником. Она вынесла бумаги, заставила меня читать. Паулина возвратилась с прогулки с большим обществом, и — гусар опять был с нею...

Я готов был спросить: по какому праву безотвязная лю-

безность его вечно с Паулиною?

Но, слава богу! я подглядел несколько взглядов, украдкою брошенных на меня. Ты думаешь, Паулина, я не заметил их? В них сказывалось мне твое чувство. С гусаром ты смеешься только, шутишь. Если бы я мог поговорить с тобою полчаса...

\* \* \*

Я говорил с нею, я осмелился напомнить ей об нашем детстве, о нашей любви... Она слушала и молчала...

— Паулина! — сказал я. — Если бы я теперь осмелился потребовать от вас исполнения той клятвы, какую вы тогда мне дали...

Она посмотрела на меня с удивлением.

— Я не изменился, Паулина, семь лет я только и жил вами, только и помнил об вас; я люблю вас, Паулина, люблю страстно...

Она была в страшном замешательстве и ничего не умела отвечать. Но отчего она улыбнулась?

Разговор наш прервался приходом Прасковьи Ивановны.

\* \* \*

— Что ж ты, Антонин, медлишь здесь, и что ты живешь в

Москве? – спросил меня утром отец Паулины, когда я пришел к нему. – Вообще, в последнее время я слышал о тебе много такого... Ты, брат, и теперь что-то не по состоянию одет... Это мне не нравится, Антонин! Мы с тобой поссоримся – я привык любить тебя, как сына, а ты чуть ли не зашалился... И ты еще посмеиваешься при моих словах!

Наш разговор прервала Прасковья Ивановна. Она сказала мне, что ей надобно поговорить со мною. Да что она за хозяйка такая сделалась в семье Паулины?

О чем хочет она «поговорить со мною»?

– Я уверена, что говорю с благородным молодым человеком, который помнит, чем обязан он здешнему дому, и потому охотно взяла я на себя обязанность объяснить вам неприличие ваших поступков. *Мы*, конечно, не обязаны требовать у вас отчета в вашей жизни и в том, как вы располагаете вашим *карьером*, хотя искренно желаем вам добра, но вы позволяете себе слишком короткое обращение с моею племянницей Паулиною, и *мы* просим вас вспомнить, что таким обращением вы можете повредить нашим семейным распоряжениям. Вы должны были заметить, что она почти невеста (Прасковья Ивановна наименовала гусара), и *мы* просим вас оставить мою племянницу в покое...

– Разве Паулина говорила вам что-нибудь?

– А разве ей было что-нибудь вами сказано?

– А разве она согласна отдать руку свою этому жениху?

– А разве вы имеете право спрашивать о том?

– Почему ж нет, Прасковья Ивановна? Я люблю Паулину; мы воспитывались вместе, и почему не могу я также быть ее женихом?

Прасковья Ивановна поглядела на меня с изумленным видом, помолчала, и потом сказала:

– Мы надеемся, что вы скоро оставите Москву?

– Нет! я жду здесь приказаний моего начальства и проживу здесь еще месяц.

– В таком случае *мы* просим уволить нас от чести вашего посещения.

Я поклонился, не сказал ни слова и ушел.

# III

Несчастлив ли я? Не знаю – кажется, несчастлив? Но отчего же горесть не терзает меня и сердце мое не разрывается грустью? Презрение и негодование заменили во мне любовь и печаль.

Они уехали в свою подмосковную деревню. Я не мог видеться с нею. Она не старалась, не хотела, стало быть, видеть меня – она не любила меня, или тут есть какая-нибудь тайна. Боже мой! или я ошибался в ее чувстве? Это было легкое впечатление, привычка детских лет...



# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.